

Каиб / продолжение

Category: Kitapcy, Powestler

написано kitapcy | 24 января, 2025

Каиб / продолжение Это было ночью; погода была довольно худа; дождь лил столь сильно, что, казалось, грозил смыть до основания все дома; молния, как будто на смех, блистая изредка, показывала только великому калифу, что он был по колено в грязи и отовсюду окружен лужами, как Англия океаном; гром оглушал его своими порывистыми ударами. Тогда-то калиф в первый раз усумнился, столь ли самовластный он повелитель стихий, как то говаривали ему визири. Желая укрыться от негодной погоды, искал он при свете молнии какой-нибудь хижины; скоро, проходя далее, увидел в стороне огонь и пошел прямо на него, надеясь у хозяина выпросить позволения осушить платье.

Калиф подходит к хижине, отворяет дверь, видит большую комнату; в одном углу стоит кровать, в другом стул, который, опираясь о стену щитом, стоял довольно гордо на остальных двух ножках; на полу набросано несколько старых книг и порядочный запас белой бумаги; не мудрено калифу догадаться, что тут живет автор. Он всегда любопытствовал побеседовать с людьми этого роду; хотя прежде сияние его сана не позволяло унижать ему себя до такой степени, но теперь не мог он не радоваться, нашед к тому удобный случай... Я было позабыл, описывая комнату, упомянуть о самом важном приборе: на кровати лежала сухощавая особа; с великою важностию рассматривала она старые рукописи и, казалось, с обгрызенным половину пером в руке, определяла судьбу целого света.

«Милостивый государь, – начал Каиб, – я лишь пришел в сей город и никого в нем не знаю, позволите ли вы страннику пользоваться гостеприимством?» – «Очень рад дорогому гостю; и если, не обижая вас, можно сделать заключение по скромному вашему платью, то позвольте спросить, не ученый ли вы?» – «Да, это правда, что я читаю книги».

«Читаете?... По вашему разодранному кафтану я подумал, что вы

их пишете. Но тем лучше: я написал теперь оду Ослашиду и хотел бы знать ваше мнение». — «А! вы пишете оды?» — «Да, это самое безопасное ремесло, но не всегда прибыльное. Недавно написал я оду одному вельможе; он восхищался ею и обещал мне щедро заплатить; но, как знатный человек, позабыв данное слово, умер на другой день. После этого я написал оду другому визирю; этот был не менее доволен, обещал меня наградить и, верно бы, не обманул, но его на третий день повесили за взятки». — «Как! вы писали оду недавно повешенному визирю? Я ее читал...»

«Признайтесь, что она недурна. Теперь я пишу оду Ослашиду, неприятелю повешенного визиря. Можно сказать, что она мне труда стоит: в этом добром человеке нет ни ума, ни добродетели; такие люди ужасно трудные содержания для лирической поэзии. Я же, не хвастаясь, скажу, что я более пишу для славы, нежели для денег; доказательство — мне хуже платят за оды, нежели за битые стекла, которые иногда покупают у меня разносчики. Со всем тем я не оставляю лирического стихотворства».

«Мне удивительна способность ваша хвалить тех, в коих, по вашему ж признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам». — «О, это ничего; поверьте, что это безделица: мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить можно было: ода — как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, коему он более подвержен, но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал; что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно; и нет визиря, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы».

«Но если свет знает, что ваше описание ложно? Что герои ваши — пустые пузыри, надутые вами?» — «Что же до того нужды? Аристотель негде очень премудро говорит, что действия и героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны, — и мы подражаем сему благоразумному правилу в наших

одах, иначе бы здесь оды превратились в пасквили; итак, вы видите, сколь нужно читать правила древних».

«Я всегда думал, что стихотворцы приступают к одам, воспаленные добродетелями и совершенствами своих героев». — «Как вы ошибались: они воспаляются одним воображением и выбирают первого, кто попадется, как художник выбирает кусок мрамору; чем грубее и несовершеннее отломок, тем более славы и искусства дать ему нежный вид». — «Ах! — сказал, вздохнувши, калиф, — как же мало люди должны гордиться такими похвалами, которые нередко их ослепляют!»

«Вольно им дурачиться, — отвечал стихотворец, — если бы они приписывали похвалы не своим достоинствам, но случаю и нашей необходимости кого-нибудь ими украшать, то бы не столь были горды. Не хотите ли, я вам скажу на этот случай короткую баснь, которую скоро намерен переложить в стихи.

Славный живописец, пленясь новою мыслью, вздумал написать Венеру, натянул кусок полотна и с великим успехом исполнил свое намерение; картина была драгоценна и со временем стала украшением чертогов славнейшего императора. Множество зрителей стекалось ее смотреть. Полотно, на коем была написана Венера, вздумало, что оно причиною всех восторгов, примечаемых в зрителях. Паук, раскидывая на нем сети для мух, вывел его из заблуждения. «Ты напрасно гордишься, полотно, — сказал он, — если б не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то бы ты давно истлело, быв употреблено на отирку посуды».

Стихотворцы то же делают с людьми, и последние такую же имеют причину гордиться, как рисованная холстина, которая думала, что живописец старался прославить ее, когда заботился он только о своем имени. Когда я читаю Гомера, то, признаюсь, вместо того, чтобы удивляться его героям, я удивляюсь ему, а на них смотрю, как на людей, которых великий этот муж сделал вьючными ослами своей славы; итак, не ясно ли видно... но вы дремлете, вам нужен покой! Не хотите ли чего поужинать?»

«Охотно бы; признаюсь, что я очень проголодался». — «Жаль же очень, что вы не пришли ко мне ранее только пятью минутами: мы бы прекрасно отужинали. По крайней мере на чем вы охотнее

спите: на тюфяках или на пуховике?» — «На пуховиках», — сказал, вздохнувши, калиф.

«Ложитесь же на эти кипы печатных бумаг, — отвечал стихотворец, указывая в угол, — ложитесь на них; если они и не так мягки, как пуховики, по крайней мере толще всякого пуховика на свете. Мои друзья ночуют у меня на них спокойнее, нежели калиф наш на лучших своих пуховиках».

Каиб лег, положил в голову стопу бумаги и в минуту захрапел так крепко, что соблазнил стихотворца себе последовать.

На другой день рано Каиб собрался в путь.

«Вы, конечно, хотите странствовать?» — спрашивал его стихотворец.

«Это правда. И хотя нет двух дней, как я начал свое путешествие, но мне столь это понравилось, что, может быть, несколько лет употреблю я на то, чтобы видеть вещи, которые, сидя дома, видел я через десятые глаза».

«Вы ничего нового не увидите: где есть люди, там всегда найдете добродетели и пороки; где есть деньги, там найдете роскошь и скупость, богатство и нищету; в городах увидите равнодушие к несчастью ближнего, в деревнях сострадание и гостеприимство, ибо сельский житель, подражая природе, учится у нее быть податливым, а городской житель, гоняясь за счастьем, учится у него быть слепым и несправедливым». После сего они расстались, и Каиб продолжал свой путь.

Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостью посмотреть сельских жителей. Давно уже, читая идиллии и эклоги, желал он любоваться золотым веком, царствующим в деревнях; давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: «Если б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком».

Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел рассеянное по полю стадо. «Великий Магомет! — вскричал он, — я нашел то, чего давно искал!» — и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастья передние знатных; и

действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усумнился, человек ли это; но, по босым ногам и по бороде, скоро в том уверился. Вид его был столько же глуп, сколь прибор его беден,

«Скажи, мой друг, – спрашивал его калиф, – где здесь счастливый пастух этого стада?» – «Это я», – отвечало творение и в то же время размачивало в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать. «Ты пастух! – вскричал с удивлением Каиб. – О! ты должен прекрасно играть на свирели». – «Может быть; но, голодный, не охотник я до песен». – «По крайней мере у тебя есть пастушка; любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобой?» – «Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников». – «Но поэтому жизнь ваша очень не завидна?» – «О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас». – «Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям, – сказал калиф. – Фея! слова твои сбываются: я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною. Но такую гадкую холстину, – продолжал он, смотря на пастуха, – такую негодную холстину разрисовать так пышно: это, право, безбожно. О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных мусульман». И калиф пошел далее.

Некогда под вечер шел он по большой дороге, и хотя уже начинало смеркаться, но никакого города не видно было вдали. Это его смущало. «Волшебница шутит надо мною, – говорил он сам себе, – она, кажется, хочет, чтоб я, подобно календеру, состарелся на больших дорогах. Вот уже более трех месяцев странствую я, но и тени нет счастья, обещанного мне феею, а что еще досаднее, то сегодня едва ль не в поле должен я ночевать; я верю, конечно, что пророк любит своего потомка; но сказать правду: медведю из лесу до меня ближе, нежели Магомету с седьмого неба». Такие мысли возмущали Каиба: владетель морей

и суши не на шутку боялся быть заеден голодным волком.

В самое то время занимался он такими заманчивыми рассуждениями, встретился ему крестьянин. «Друг мой, далеко ли до города?» – спросил у него калиф. «Часов восемь; к утру можешь ты там быть». – «Но нет ли где переночевать, не попадется ли мне на пути деревня?» – «Ни двора; а если хочешь, то, прошед немного, можешь свернуть по тропинке вправо и лесом, через старое кладбище, пройти до деревеньки, где можешь найти ночлег».

Прошед немного, и действительно Каиб увидел вправо тропинку, проложенную в лес; он пошел по ней и в четверть часа выбрался на маленькую площадку, украшенную развалившимися гробницами. Каибу некогда было любопытствовать: страх и приближающаяся ночь понуждали его идти далее; как вдруг, прошед площадку, увидел он, что тропинка разделилась надвое. «Боже мой! – вскричал Каиб, – по которой должен я идти? Ну, если я выберу самую трудную и долгую, тогда всего вернее, что мне должно будет спать на земле, без всякого защищения от зверей; но если я ворочусь – а до города еще восемь часов!., это ужасно! Нет, – продолжал он, окидывая глазами кладбище, – нет, я лучше соглашусь как-нибудь провести ночь здесь», – и тогда ж, увидя высокий надгробный камень, решился он выбрать его своим ночлегом. Каиб подошел ближе к камню и увидел на нем высеченные сии слова:

«Кто бы ты ни был, не приближайся; взирай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой, и познай, что я... (имя так изгладилось временем, что Каиб никак не мог разобрать)... победитель вселенной, коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли: оружием моим покорил я множество народов, одержал 729 побед и не имел сражения, на коем бы побито было менее 15 000 неприятелей. Свет сей оставляю в законное наследство сыну моему и его потомкам. Умираю доволен, что основал племени моему твердое и неколебимое наследие, сокровища неисчерпаемые, славу бессмертную, и страх имени моего столь великий, что не будет смертного, который бы осмелился коснуться до моего надгробного камня».

«Какая прекрасная надпись! – сказал Каиб и вскарабкался с

великим трудом на камень. — Здесь точно безопасно, — ворчал он тихонько, — камень этот и высок и неприступен для зверей... только желал бы я очень знать, чья это гробница. Это ужасно, что такие славные имена стираются с надгробных камней! Как же после этого можно полагаться на историю, ибо я твердо верю, что тысячи славных людей, понаделавших столько же знаменитых дел, как и нынешний мой хозяин, не внесены в историю только для того, что надгробные их камни были рыхлы и удобно размывались дождем. Какой это для меня прекрасный урок! О! я, конечно, выберу для моего надгробия камень подтверже и ручаюсь, что слава моя будет продолжительнее славы моего хозяина». Потом вынул Каиб из кармана хлеб и кусок сыру; в минуту отправил он по-походному ужин. «Как мало нужно для человека! — сказал калиф, — на день два фунта хлеба и три аршина земли на постелю при жизни и по смерти. Я бы желал знать, отчего, за четыре месяца перед сим, вся вселенная казалась для меня тесна, а теперь и камень этот для меня очень просторен? И слово «мое!», на которое право стоило мне, может быть, триста тысяч добрых мусульман, — слово это теперь меня не восхищает! О гордость, сколь ужасно тебе воздаяние! при жизни тебя ненавидят, по смерти презирают или забывают. Ах! может быть, и я со временем буду служить постелею какому-нибудь страннику, который, не посмотря на гордую мою надгробную надпись, спокойно выпится на том, на кого предки его не смели взглянуть без ужаса».

Каиб заснул. Вдруг видит он, что камень отодвигается и из-под него выходит величественная тень некоего древнего героя.

Рост его возвышался дотол, доколь в тихое летнее время может возвышаться тонкий дым. Каков цвет облак, окружающих луну, таково было бледно лицо его. Глаза его были подобны солнцу, когда при закате своем опускается оно в густые туманы и, изменяясь, покрывается кровавым цветом. Главу его покрывал огромный шлем, который, казалось, мог противустоять громовым ударам. Руку его обременял щит, испускающий тусклый свет, подобный тому, какой издает ночью зыблущаяся вода, отражая мертвые лучи бледных звезд. Калиф тотчас догадался, что герой его из числа тех знаменитых особ, которые называются

победителями народов и на земном шаре с великим успехом заменяют собою всемирный потоп. Он молчал и ожидал, что будет далее.

«Каиб, – сказало ему видение, – ты зришь пред собою тень того, коего прах покоится под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедлива: я победил весь свет; ничто не смело вооружаться против меня, кроме моей совести, которая одна могла мучить того, кто мучил вселенную. По смерти моей небо истребило память мою в людях, а меня осудило мучиться дотоль, доколь не буду я причиною хотя одного доброго дела. Двадцать тысяч лет уже гробница моя стоит здесь, и во все это время не был я причиною ни одного доброго дела. Доколе память моя еще не затмилась, дотолé возбуждал я себе последователей, столько же вредных свету, как был вреден ему я сам; память моя погибла; но мои последователи имели также своих подражателей, и всем бедствиям, угнетавшим после того землю, был причиною я, дав первый пример любочестия. Наконец небо избрало тебя быть моим избавителем: ты, делая последнее унижение моей гордости, надгробие мое сделал своим ночлегом. Высокий камень мой спас тебя от хищных зверей, коим бы ты был непременно добычею в сем диком лесу – и вот первая польза, которая в двадцать тысяч лет от меня произошла.

Гробница моя и надпись на ней внушили тебе благоразумные размышления; сердце твое удобно ими пользоваться; а сии размышления в толь великом калифе, каков ты, будут причиною счастья миллионов людей, – вот благо, происшедшее также от меня. Судьба исполнила меру своего правосудия, в сей день кончились мои мучения. Небо, разрешая меня, позволило, чтоб я принес тебе благодарность; позволило оно, чтобы я тебе подтвердил истину надписи, запрета только сказывать свое имя, осужденное к вечному забвению на лице земли; позволило оно также сказать тебе, что ты близок от вещи, для которой путешествуешь; счастье тебя ожидает. Но, калиф, да не развратит негa его твое сердце – не забывай никогда того, что ты видел теперь. Помни, что любочестие наказывается чрезмерным унижением; помни, что право твоей власти состоит только в том, чтобы делать людей счастливыми, – сие право дают тебе небеса;

право же удручать несчастьями похищаешь ты у ада». Изрекши сие, изменяться стала тень и исчезать, подобно тускнеет серебристое облако, когда луна от него удаляется и, развеваемое по лазуревому небу, становится невидимо взорам смертных.

Наутро калиф проснулся рано и, дивясь странному сновидению своему, продолжал свой путь по одной из двух тропинок. Три часа шел он дремучим лесом и наконец вышел на прекрасный луг, через который лежала дорога к маленькой хижине. Каиб любовался местоположением и, осматривая окрестности, удивлялся природе, как вдруг, оборотись направо, увидел прекрасную четырнадцатилетнюю девушку. Она с великою прилежностью искала чего-то в траве; прекрасные глаза ее орошены были слезами – знак, сколь дорого она ценила потерянную вещь. Каиб подошел к ней; она его не примечала; он не спускал с нее глаз: всякая черта, всякое движение, всякий шаг ее воспламеняли в нем кровь. Каиб обладал многими женщинами, он чувствовал иногда сильные желания, но теперь в первый раз узнал, что такое любовь.

«Иностранец, – сказала ему красавица, увидя его, – не находил ли ты здесь портрета? Ах! если он у тебя, так возврати Роксане то, что ей дороже жизни». – «Нет, прекрасная Роксана, – отвечал калиф, – судьба не хотела наградить меня счастьем быть тебе полезным...» – Калиф бы далее продолжал свои учтивости, но прекрасная его незнакомка, не выслушав и сих, отошла от него искать портрета. Калиф, не говоря ни слова более, сам стал шарить в траве. Надобно было посмотреть тогда величайшего калифа, который, почти ползая, искал в траве, может быть, какой-нибудь игрушки, чтобы угодить четырнадцатилетнему ребенку. Он был так счастлив, что в минуту нашел потерю. «Роксана! Роксана! портрет!» – кричал он, показывая ей издали портрет.

Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы. Радость, торопливость и нетерпение сделали то, что она запуталась в траве и упала бы, если б не поддержал ее Каиб. Какое приятное бремя чувствовал он, когда грудь Роксаны коснулась его груди. Какой жар разлился по всем его жилам, когда невинная Роксана, удерживаясь от падения,

обхватила его своими руками, а он, своими поддерживая легкий и тонкий стан ее, чувствовал сильный трепет ее сердца. «Возьми, прекрасная Роксана, сей портрет, – говорил ей Каиб, – и вспоминай иногда сей день, который возвратил тебе драгоценную потерю, а меня навсегда лишил вольности». Роксана ничего не говорила, но прелестный румянец, украсивший ее лицо, изъяснял более, нежели бы она могла сказать. «Незнакомец, – сказала она Каибу, – посети нашу хижину и дозволь, чтоб я отцу моему показала того, кто возвратил мне потерянный мною портрет моей матери».

Они вошли в дом, и Каиб увидел почтенного старца, читающего книгу. Роксана рассказала ему приключение, и старик не знал, как отблагодарить Каиба. Его просили остаться у них на день, – можно догадаться, что он не отказал; этого мало: чтобы пробыть долее, он притворился больным и имел удовольствие видеть, сколь Роксана о нем сожалела и как старалась оказывать ему угождения... Может ли любовь долго скрываться? Оба они узнали, что они любимы взаимно; старик усмотрел их страсть: множество на этот случай наставлял он прекрасных нравоучений, но чувствовал, сколь они бесплодны; и сам Каиб, который с восхищением видал, как прекрасная Роксана чувствительна была ко нравоучениям и как нежное сердце ее уважало добродетель, сам Каиб не хотел бы, чтобы теперь слушала она нравоучения противу любви. Старик, любя дочь свою и пленясь добросердечием, скромностию и благоразумием Каиба, решился отговорить его от охоты к странствию и умножить его семейство. Роксана просила его нежно, чтобы предпочел он спокойную жизнь и любовь ее желанию скитаться. «Ах! Гасан, – сказала она ему некогда, – если б знал ты, как ты мне мил, то бы никогда не оставил нашей хижины ни для великолепнейших чертогов в свете... Я люблю тебя столько, сколько ненавижу Каиба нашего». – «Что я слышу? – вскричал калиф, – ты ненавидишь Каиба!» – «Да, да, я его ненавижу столько же, сколько тебя люблю, Гасан! Он причиною наших несчастий; отец мой был кадием в одном богатом городе; он исполнял со всею честностию свое звание; некогда, судя родню одного царедворца с бедным ремесленником, решил он дело, как требовала справедливость, в пользу последнего.

Обвиненный искал мщения; он имел при дворе знатную родню; отец мой был оклеветан; повелено отнять у него имение, разорить до основания дом его и лишить жизни; он успел убежать, подхватя меня на руки. Мать моя, не перенеся сего несчастья, умерла в третий месяц после нашего сюда переселения, а мы остались, чтобы закончить здесь жизнь в бедности и в забвении от всего света».

«Оракул, ты исполнился! – вскричал калиф, – Роксана, ты меня ненавидишь!..» – «Что с тобою сделалось, Гасан, – прервала смущенная Роксана, – не тысячу ли раз говорила я тебе, что ты мне дороже моей жизни. Ах! во всем свете я ненавижу одного только Каиба». – «Каиба! Каиба! Ты его любишь, Роксана, и возводишь своею любовью на вышний степень блаженства!» – «Дорогой мой Гасан сошел с ума, – говорила тихонько Роксана, – надобно уведомить батюшку». Она бросилась к своему отцу: «Батюшка! батюшка! – кричала она, – помогите! бедный наш Гасан помешался в уме», – и слезы навертывались на ее глазах. Она бросилась к нему на помощь, но уже было поздно, Гасан их скрылся, оставя их хижину.

Старик сожалел о нем, а Роксана была неутешна. «Небо! – говорил старик, – доколе не престанешь ты гнать меня? Происками клеветы лишился я достоинств, имения, потерял жену и затворился в пустыне. Уже начинал я привыкать к моему несчастью, уже городскую пышность воспоминал равнодушно, сельское состояние начинало пленять меня, как вдруг судьба посылает ко мне странника; он возмущает уединенную нашу жизнь, становится любезен мне, становится душою моей дочери, делается для нас необходимым и потом убегает, оставя по себе слезы и сокрушение».

Роксана и отец ее проводили таким образом плачевные дни, как вдруг увидели огромную свиту, въезжающую в их пустынь. «Мы погибли! – вскричал отец, – убежище наше узнано! Спасемся, любезная дочь!..» Роксана упала в обморок. Старик лучше хотел погибнуть, нежели ее оставить. Между тем начальник свиты к нему подходит и подает ему бумагу. «О, небо! не сон ли это? – вопиет старик, – верить ли глазам моим. Мне возвращается честь моя, дается достоинство визиря; меня требуют ко двору!» Между

тем Роксана опомнилась и слушала с удивлением речи своего отца. Она радовалась, видя его счастливым, но воспоминание о Гасане отравляло ее радость; без него и в самом блаженстве видела она одно несчастье.

Они собрались в путь, приехали в столицу, – повеление дано представить отца и дочь калифу во внутренних комнатах; их вводят; они падают на колени; Роксана не смеет возвести глаз на монарха, и он с удовольствием видит ее печаль, зная причину оной и зная, как легко может он ее прекратить.

«Почтенный старец, – сказал он важным голосом, – прости, что, ослепленный моими визирями, погрешил я противу тебя: погрешил против самой добродетели. Но благодеяниями моими надеюсь загладить мою несправедливость, надеюсь, что ты простишь меня. Но ты, Роксана, – продолжал он нежным голосом, – ты простишь ли меня и будет ли ненавидимый Каиб столь счастлив, как был счастлив любимый Гасан?»

Тут только Роксана и отец ее в величайшем калифе узнали странника Гасана; Роксана не могла ни слова выговорить: страх, восхищение, радость, любовь делили ее сердце. Вдруг явилась в великолепном уборе фея.

«Каиб! – сказала она, взяв за руку Роксану и подводя к нему, – вот то, чего недоставало к твоему счастью; вот предмет путешествия твоего и дар, посылаемый тебе небом за твои добродетели. Умей уважать его драгоценность, умей пользоваться тем, что видел ты в своем путешествии – и тебе более никакой нужды в волшебствах не будет. Прости!» При сем слове взяла она у него очарованное собрание од и исчезла.

Калиф возвел Роксану на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их сумасшедшими и стали бы на них указывать пальцами.

Конец.

• **Комментарии**

Напечатано в «Зрителе», 1792, ч. III, стр. 90-108, 257-306. По своей восточной манере эта повесть Крылова напоминает сатирические «восточные повести» Вольтера («Белый бык»,

«Царевна Вавилонская»»), а также «Персидские письма» Монтескье, которые пользовались условно-восточным колоритом для прикрытия резкости своей сатиры, обличавшей нравы современного общества. В описаниях Каибова государства, вельмож, отношений Каиба к ученым и писателям содержится ряд едких намеков на екатерининское царствование.

Шемела — святочная игра, бег взапуски на корточках с пением песни о шемеле (метле).

Бегло читали по толкам — по складам.

Именины Касьянов — отмечались раз в четыре года (в високосном году).

Термопилы — при Фермопилах в 481 году до н. э. произошла битва греков с персами.

Скоропостижные вирши — экспромты.

Диван — государственный совет у восточных властителей.

Кадий — судья.

Аристотель... говорит... — Речь идет о «Поэтике» Аристотеля, основные положения которой легли в основу эстетики классицизма.

Калиф искал ручейка. — Это место пародирует сентиментально-идиллическое описание крестьян у Карамзина и его последователей.

Календер — нищенствующий восточный монах, дервиш.

* * *

И.А.Крылов. Сочинения в 2-х томах. Под наблюдением Н.Л.Степанова. Библиотека «Огонек». Из-во «Правда» Москва, 1969. Powestler